



Проза

**Василий
КИЛЯКОВ**

Московская
область

Василий Васильевич Киляков родился в 1960 году в Кирове. После окончания Московского политехникума работал мастером на заводе, служил в армии. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького в 1996 году (мастерская М.П. Лобанова). Лауреат многих литературных премий. Член Союза писателей России. Живет в городе Электросталь Московской области.

ВЫСТРЕЛ

Рассказ

У существительного «агапе» – «любовь» – на греческом языке выделяют до восьми смыслов и оттенков, иногда противоположных по смыслу: от величайшей страсти до постоянного беспокойства и озабоченности (в том числе и тревоги молитвенной монаха) за всё и всех в мире этом. А что включает в себя «счастье»? Что означает это слово? У существительного «счастье» выделяют лишь два значения. И сопрягают по семантике – то с чувством или состоянием высшей радости, высшего удовлетворения; и переживания радости от удачного, скорее даже неожиданного, случая. И восторг кратковременный. И третье: «счастье» как сама удача, успех сопутствующий, ведущий к материальному или иному (карьерному) благополучию. К тому же счастье путают с наслаждением. (Сё – человек!). В этих объяснениях нет главного, и вот почему. «Везенье» – в понимании большинства – не сопоставимо ни с одним из определений «агапе». Главное же вот в чём: «с-частью», на мой взгляд, – означает быть всегда «с частью» частью чего-то целого, необъятного, неохватного, даже великого. «Быть с частью»... Но с частью чего и кого же? Вот вопрос вопросов, и ответ на него, самый решительный – лежит вовсе даже не в плоскости филологии, а в философии религиозной. За пониманием любви к человеку и счастьем – стоит нечто большее, даже – огромное, невообразимое нечто, некая громада, та, что мистически и незримо присутствует всегда в жизни каждого на этой земле. Может быть, душа человеческая всего лишь часть чего то или кого то огромного, – того, кто сроден, сродственен ей. Так, свет от зеркала – всего лишь отсвет, отблеск солнца, но не само солнце.

Счастье в нашем бытовом понимании, конечно, мгновенно. Впечатление от подаренной норковой шубки или кольца с бриллиантом, эксклюзивного ружья или удочки – мы называем счастьем. Или присуждение золотой медали на чемпионате – счастье. Человек стоит столько, сколько стоит его счастье. Когда я вспоминаю о том неожиданном счастье, что пережил, – душа моя наполняется всякий раз мистическим волнением, даже трепетом... Так что же это за «великая часть» такая, та, что сопричастна душе человеческой, и сама она в свою очередь – не есть ли малая толика чего-то необъятного, невысказанного, немыслимого? Часть эта входит в иную часть, как сфера в сферу. Часть некой силы великой и великого пространства – отражается неким бликом, блистанием в нас, как в зеркальце. Часть бытия или солнца, времени и силы... Кто-то ждёт иного счастья, полагая его – или в семье, или в заботе, или в работе. Кто-то считает счастьем выплаченный (наконец-то) кредит. Один всемирно признанный писатель, всеми уважаемый и ценимый, признался на смертном одре, что отдал бы все свои писания за то, чтобы при жизни быть уверенным, что есть на свете хоть один человек, которому не без-

различно, «опоздал ли ты к обеду». Все эти думы настаивают меня при воспоминании того ужасного состояния, что пережил я однажды, это стало истинно потрясением и запало в сердце на всю жизнь. И – единственно только «с-частьё» вселенское спасло меня.

В тот вечер все рамки бытия сдвинулись для меня и переместились. Случилось так. Поздним осенним вечером я бродил по селу. Ровесников о ту пору моей молодости не было, вся молодёжь поразъехалась. Телевизор не смотрелся, в карты не игралось (со стариками да старушками) – и ой, как невесело было в деревне в тот памятный мой приезд... «Да и что в этих картах, “одна прелесть”» (от слова «лесть»), – как говорила некая богомольная старушка. Привяжутся, как семечки: и наскучат, и не бросишь никак. Или – заводили мои старики разговор о такой старинности, в которую уже и верить не хотелось. Странно было, что им интересны были припоминания, как жили «при царе горохе»... И что, вот именно так и было, – и голодно, и неудобно, и скорбно, и беспросветно. Сначала, бывало, заслушаешься, а спустя полчаса уже зеваешь от скуки... Да вот словечки эти местные, диалектные «ялань», «кулижка»... Добавить сюда ещё манеру говорить таким языком, что нигде и ни в каком городе вовек не встретишь, – вот вам и полная картина потерянного вечера, – скукота такая, что «хоть волком вой». Но в тот день как-то особенно не заладилась моя игра и обычные разговоры. Старики мои по три раза переспрашивали: «...так ведь это свои? Ты что, своими бьёшь?» (Свои – это козыри в колоде.) Своими они почему-то называли дорогу для них масть. И привыкшие на всём постоянно экономить и «прикапывать» истинно по-собачьи, смехотворно сдерживать свой ресурс, – потешные старики так же неохотно расставались с козырями «своими», как с памятью о прошлом, что приберегла судьба. Так экономно и скаречно пускали они в игру одну и ту же масть, так скучно, расчётливо и без всякого риска, что я вконец заскучал, стал, к удивлению своему, предсказуем в игре, и так, рискуя, стал пробрасывать карту совсем уж дерзко и безоголодно, что стал то и дело проигрывать. И на радость рачительным моим «плюшкиным», проиграв сряду раза четыре, вышел на улицу едва ли не в отчаянии: ну что за жизнь, унылая, серая, решительно нечем заняться! А главное, неужели и впрямь так и следует жить, по-звериному бережливо всё накапливая... Если так – то как скучно, бессмысленно, однообразно прокатится время до конца. Помню, пел дед-фронтовик вызывающе, играя на гармонии: «Времечко моё бежит, время тянется: кто не гуляет да не пьёт – поздно встрянетсЯ...».

Над крышами висела полная печальная луна, но было ещё светло и как-то не по себе стало, помню, от этого лунно-лукового света, какого-то потустороннего, горного. Густые тени высоких тополей рассеивала лампочка, висевшая высоко на столбе и светившая слабым жёлтым неверным светом. Освещала она дальний конный двор, баз и колодец с журавлём. Журавль торчал вверх как огромная одинокая удочка, нависшая над безмолвным прудом, даже скорее – над болотом.

Из-за крайнего дома со стороны полевой дороги навстречу мне выбежала собака, за ней шёл наш сосед, дядя Ваня, заядлый охотник и большой бездельник, с ружьём за плечами. Он подошёл, отогнал собаку. Потом стал что-то спрашивать про деда, чем, дескать, занят. И, закуриив, принялся вышучивать и меня:

– Чего приехал, чего один?.. «Дело пытаем, или от дела лытаем?»

Я, уловив его тон зубоскала, отвечал:

– И то и другое...

– Всё учишься? – вышучивал меня охотник. – Выучишься, и про меня не забудь, в Москву заberi. На Белокаменную хочу поглядеть. Теперь вот говорят, что только в Москве и жизнь, а тут – какая здесь жизнь, прозябание. В городе, вот где жизнь так жизнь: там – где пивка попьёшь, тут винца дёрнешь... Есть чем заняться. Живёт сегодня только Москва, на неё только все узлы завязаны... А для чего живёт – непо-

нятно: ничему ваша Москва не верит, даже слезам, и то не верит... по поговорке. А глухомани нашей не верит и подавно. Не верит, что не живём, а выживаем здесь...

– Да... – поддержал я, – запустенье тут, дикость. – Тут дикость, а там бой, там тоже не просто: всё время будь начеку, воюй, доказывая своё, отстаивай. Так тоже нелегко. «Москва бьёт с носка...» Внезапно и хитро. Но жизнь-то содержательней, однозначно. Особенно если по части пивца и винца, то да, – поддел его я. Оно, как же без витамина «це» и жить-то: «...солнце, винце, пивце...». Тут – по этой части лажа, не жизнь, а сажал! Самогон и тот не купишь тут в пору «борьбы с алкоголизмом»...

Он даже и не заметил моей иронии.

– Как так, а луна? Вон какая! – продолжал он шутить по-своему на деревенский лад. – Такой в столицах не сыщешь. – Разве что, – отвечал он грустно, пуская густой дым, – в сказках...

А я слушал и всё поглядывал на его ружьё, торчавшее за его плечами. «Эх, вот так бы погонять ветер с ружьём». Пострелять да походить, поохотиться самому. Если пулей «спутник» зарядить патроны, пожалуй, что и кабана завалить можно. И лося. – «С отрадной грустью внемлю я, как ветер гулом однотонным гудит-поёт в стволы ружья...», – такие настигали мысли.

А он, помолчав для пущей важности, подольше, продолжал:

– Ты в своей Москве луну-то видел? А тут вот она – луна, потрогать можно... – Там за небоскрёбами её не видать у вас, конечно. – И, перехватив мой взгляд на ружьё, уловил наитием моё настроение, – и то, что я не склонен теперь зубоскалить, оспаривать интонацией насмешника этот обычный тон превосходства в соре городского и деревенского жителя, – спохватился и продолжал совсем уж миролюбиво:

– Надолго к деду прикатил? А что, нравится ружьецо-то? Знатное ружьишко. Твой дед не так давно, когда табак по талонам стал, променял ружьё на ящик махры у заезжих полковников, охотников на кабанов. Ох, и страдал твой дед без курева-то, говорил «уши пухнут, так курить охота». А они, браконьеры-то, и рады...

– На два денька приехал, – отвечал я нехотя. – А что, у деда ружьё было? Что-то не помню. Зря и приехал. Скука тут, тоска зелёная. На улице ни души, как вымерли.

– Вымерли и есть. Вымерли да поразъехались. Раньше что было! У-у-у-о, улей. «Гудит как улей родной колхоз, а нам усадьбу любить до слёз...». Помнишь, пели? А теперь – всё, нету никого, некому петь.

– Да, молодёжи нету, скучновато.

– А я привык. Фермерствую. Денёк один сегодня выпросил у жены поохотиться. Один день убил, больше ничего. А ружьецо собираюсь купить ещё одно. Это-то хоть и старовато, а тоже не погонялка, ха-ха... Смотри, длина ствола. Сантиметров на двадцать больше новых-твоих, а?.. Теперь такие уже не выпускают. Было дело, с дедом твоим ходили по уткам. Я их во-он откуда, родимых доставал, с-под самых с-под облаков. Дальность и сила у ружья этого – сказка. Не то что у нынешних. Ты не смотри, что старенькое, бьёт – только в путь! А твой дед ходил последнее время всё неудачно со своим дробовиком, мазал, злился, может, оттого и променял ружьецо, не знаю. А это – вона! Промаха не знает, так бьёт...

Понимая про себя, какой «фермер» передо мной, зная хорошо, какой это «шалтай-болтай», – «болтун и «брехло» – как говаривал мой дед: – «а когда никто кроме не слышит – то – “фермер”», – я всё же сделал вид, что мне и впрямь интересна беседа, что и он уважаем бесконечно, мой собеседник. Похвалил ружьецо.

– Дай-ка, я гляну, – попросил я.

– На, полюбуйся на «богачество»... Думаю «Магнум» купить или «Беретту»... «Сайга» теперь тоже, говорят, неплоха. Есть восьмизарядная «Сайга», очередями стреляет, тоже ничего... Но это – проверенное моё самое дорогое оружие, раритет. Деньги-то есть, конечно, у меня, я же

фермерскую помаленьку... А эту – продам. Но дорого. Желающих полно, если кто понимает. Вот хоть тебе. Глянь, примерься, сколько дашь, так, навскидку? А не возьмёшь, на следующий год приедешь, попросишь, а я уж отдал другому, так и знай. Кому? Секрет... За милую душу! Возьми-ка, примерь, может, это твоё ружьё. Ружьё – оно как охотничий нож хороший, словно кинжал кавказский, – само себе хозяина ищет. На Кавказе всё про это знают, я там бывал не раз.

Он ещё что-то говорил, но я уже не слышал. Дядя Ваня снял ружьё с плеча. Я взял одностволку, повертел её и так и сяк в руках, стараясь не слушать трепотню «охотника», – и не нашёл в ней ни изъянов, ни достоинств... Так себе. Как раз в эту минуту, гремя вёдрами, к колодцу с журавлём шла тётя Маня, соседка. Я заглянул в прицел. Заскрипел журавль с утяжелителем. Убого, почти ломаясь от противовеса, потащил журавль наверх ведро. Я навёл мушку. Палец тронул излучину спусковой скобы и удобно лёг на спусковой крючок, в эту его кривую и тайную ложбину, такую тонкую, желанную всякому охотнику – палец лёг в неё идеально... Приклад упер в плечо потуже, поудобней, – как если бы и впрямь стреляла я «спутником» по кабану с усиленным пороховым зарядом. Упор плотно и крепко, чтобы не было отдачи... И когда я совместил мушку с целиком, в голове моей как бы сама собой возникла фраза: «В людей целятся только злодеи». И в то же время другой голос, отчётливо шептал: «Жми, нажимай. Главное – не думай... Не давай себе думать...» Я поднял ружьё, перевёл дуло и прицелился в слабо коптящую жёлтую лампочку на столбе. Потом, всё ещё балуясь, навёл на Маню, потом опять на лампочку. Нажал на спусковой крючок. И вдруг грохнул выстрел. Лампочка разлетелась вдребезги, засвистели, закачались электрические провода. Собака из ближнего двора подняла лай. Потом все собаки с округи стали ей вторить, брехать и визжать. Поднялся такой гам, закричали издали какие-то люди. Дядя Ваня тоже что-то кричал мне, оглохшему от грома выстрела, и я вдруг отчётливо почувствовал, как от него понесло сивухой. Лицо его, кричащее мне губами, то отдалялось, то приближалось. Губы жили как бы отдельно от лица. А я стоял – ни жив, ни мёртв – слышал только, как гудят провода от ударившей в них дробь. Вместо сердца – комок глины. И в груди пустота, словно летишь в пропасть. Свинцовые руки, сухие губы.

– Ну, что молчишь, ай, язык проглотил?

Я очнулся. Я не знал, что ружьё заряжено, а дяде Ване, верно, и в голову не пришло предупредить меня или, входя в жилой район, поставить замок на предохранитель, а того лучше – выбить патрон из патронника. И что тут началось! Сыр-бор, да какой! На выстрел выбегали из ближайших домов. Шли-спешили люди. Повыскакивали собаки. Я так оторопел, что не допускал и мысли, что могло произойти секунду назад, не переведи я мушку с человека на лампочку. И все почему-то ругали дядю Ваню: «Какое счастье, какое счастье, что я не убил человека!»... Я всё ещё был и полуслепой, и полуглухой, и онемевший.

Шатаясь, шёл к дому...

– Чего там? – спросил дед из завозни. – Ванька, что ли, охотник хренов, стреляет опять? Или надрался он опять?

Я молча разделся и полез под бочку – в холодный душ. ...И теперь, даже теперь, когда столько лет минуло со дня того выстрела, – когда прошло столько дней, месяцев, лет, особенно трудные дни житейских невзгод, неудач, неурядиц, когда смыкается холодный круг отчаяния, – вдруг приходит, настигает меня это воспоминание и мысль: «А ведь я счастливый человек, я не убил человека...»

Да, не убил. А всё остальное – что бы то ни было и чего бы ни случилось, – всё выеденного яйца не стоит. И ещё приходит догадка: какая же часть этого огромного мира шепнула мне тогда: «Ведь ты не злодей, чтобы выстрелить. Человек не должен целиться в человека...»

СИДЕЛЕЦ

Рассказ

Жара в глухой рязанской деревушке Смирновке. Весь август «сушит». Осыпается переспелая ржица, и редко-редко дожди, как по заказу. В полях кое-где проглядываются комбайны, подбирают валки. Солнце жжет нещадно.

Перед окнами деревенского дома остановилась лошаденка соловой масти, хилая. В телеге мешки с зерном и четверо мужиков. Дед Степан и дед Федор мне известны, а других я видел впервые. Один чернявый, похожий на татарина, другой рыжий. Обоим лет по сорок.

– Бабка дома? – не слезая с телеги, спросил рыжий.

– Дома, – ответил я из растворенного окна.

– Позови-ка ее, больно нужна. На минутку.

Я позвал бабку, вышел сам и стоял у калитки. Мужики привезли пшеницу, хотели толкнуть. Бабка подошла к телеге, что-то тихо спросила, да видать смекнула, что зерно ворованное, с поля из-под комбайна, и заспешила в дом, громко повторяя «нету», «нету», «нету»...

– Ты не думай, что ворованное, – сказал чернявый. – Нам сегодня зарплату дали пшеницей...

– Правда? – уже уходя, но все еще не веря, говорила бабка. – Не врите?

– Вот те крест! – искренне говорил рыжий мужик.

– Денег в кассе вот уже два месяца нету, Поля, – подал голос дед Степан. – Дали вот, со склада возьмем...

– Тада давайте... Давайте, я возьму курям...

Татарин щелкнул по кадыку и подмигнул. Рыжий цыкнул на него, чего, мол, потешаешься. Ловко схватили мешок за хохол и легко затащили пшеницу в сенцы.

В чуланчике мужики и бабка о чем-то потолковали. Через минуту-другую все четверо сидели за столом, чернявый и рыжий друг против друга, дед Степан и Федор – рядышком, пили самогон и закусывали малосольными огурцами, нарезанными колесиками. Ели они торопясь, но с разговором. И хотя было воскресенье, их отпустили «на часик» от комбайна, чтоб отвезти домой зерно, в соседнее село, страда ждать не любит...

– ...А совхозное я бы не взяла, нет и нет... – говорила бабка, подрезая свежих помидоров в тарелку. Рыжий зевал и не спускал глаз с бутылки.

– Раньше я совхозное не брала, да и теперь боюсь...

– Да чего теперь бояться, бабуля, ты что. Теперь – свобода...

Допив бутылку, мужики набрали в карманы яблок из кошелки в избе. Вторую чернявый поставил в боковой карман пиджака. На пропыленных волосах мужиков – ость и остаток половы, рубахи высохли и белесы от соли, лица почернели тем грязным загаром, ввевшимся до костей, который бывает только у комбайнеров.

По улице с грохотом прокатил ларь с хлебом. Летом возят хлеб на лошади в телеге. Буханки килограмма на два укладываются в деревянный ящик – ларь, и возит его старик. Он, как мимо бабкиных окон едет, орет что есть мочи: «Эй, невеста, хлеб привез!» А тут что-то проехал молчком, лошадь, что ли, увидел у калитки...

– Ой, ой, – заспешила бабка, – без хлеба осталась. Ну-ка вас, му-жики...

– Сколько он парился-то? – спросил дед Степан, куря вонючий само-сад и поглядывая вслед уезжавшему хлебовозу.

– Давали восемь или десять лет, – отвечал Федор, сосед по скамейке. – Говорят, что сидел зазря...

– А ты слушай больше! – растягивая слова, возражал дед Степан. – Зазря тогда никого не сажали. Я-то хорошо помню, как его забирали. На дугах косили. Жарило и палило. И Иван этот с нами косил. Глядь – мерин! Черный-пречерный, аж в мыле, мерин-то. В беговых дрожках двое энкавэдэшников. Один – офицер, другой – с лычками. «Кто тут такой-то

такой-то?!» Мы косы побросали. Подходим. Иван аж побелел. Беду почуял. Портчонки подтягивает, рубашонку надел... «Я, – говорит, – такой-то и такой-то...» – «Садись, поехали». Прокатили с ветерком, растак твою так-то! Сели и покатали к парому на переправу... А народу собралось – туча. Тут девки, и парни, и бабы, – словом, все, кто косил за рекой и сено согребал. Все тут собрались, галдеж... А сына его, Максима, дома взяли. Вернулся лет через пять...

– Говорят, и его домой завозили за харчишками, – спокойным голосом говорил дед Степан.

– Кой там! А чего он может взять летом в доме? Прокислое молоко в погребке? – Дед Федор горячился, будто это было вчера. Молодые мужики с сочным треском кусали яблоки. – Эх и конь в дрожках был запряжен! И военные лихие, много не говорили... Видать, было за что. Зазря не забрали бы. За двадцать километров ехали по такой жаре... Нет, это он что-нибудь у немцев делал.

– Да будь болтать-то, – неожиданно вступилась бабка. – Вот как выпьют, так язык без костей.

– Да чего там, – вступил в разговор татарин. – А мой дядя из-за бабы погорел. Связался будто бы с бабой во время войны, а потом уехал на родину к первой жене. Ну, та возьми на него донос...

– Ну, донос-то донос, а разговор-то о чем идет?

– Как забирали, и виновен ли был...

– Чужая душа – потемки, – вставая со скамьи, сказал дед Степан. – Давно было да прошло. Об этом недавно стали говорить. Молчали.

Старики покурили... Почему-то все курили самосад. И те, что помоложе, – тоже.

– А помнишь, – тихо поталкивая в бок деда Степана, сказал дед Федор, – а помнишь Аксютин? За что его тада посадили? Собрались в лес, дело-то зимой было. Аксютин явился в правление колхоза с топором. А тада портреты боль-ших начальников развешивали на стенах правления...

– Это почему «тада», и сейчас развешивают...

– Ну, так ты слушай... Пришел Аксютин, а выпимши. А самогончка-то, известное дело, на месте не сидит, на язык просится. Посмотрел он на портрет депутата Шкиряпова и сказал: «Ну и лысина! А морда-то – топор об нее почистить...» Только и сказал... А тут и были-то трое мужиков да счетовод. Раненько было, собрались на наряд.

– Сколь ему сунули?

– Кажись, десять... Так и помер там, в тюрьге. За язык пропал...

Бабушка, у которой почему-то вдруг испортилось настроение, стала прогонять гостей, говоря: «Гоняйте, гоняйте... Будя языки-то чесать. А то я из-за вас без хлеба останусь». «Ну-ка их, – ворчала бабка, когда гости «убрались». – Вот и ходют и ходют, а чево ходют. Бойся теперь из-за этого мешка...»

А чего «бойся», деревня вся вымерла напрочь, заброшена людьми и Богом. Если проедет кто-то на лошади или на тракторе – все выходят на улицу или рас-творяют окна. Это, разумеется, летом. Зимой по деревне ни пройти, ни проехать. На тракторных санях везут сено не по деревне, а мимо, в объезд. Зимой вообще никто не живет, а летом бывшие жители приезжают в свои дома, и моя ба-бушка тоже. «Я тут одна-то сама себе хозяйка, – хвалилась моя баб-ка, – никто меня не понужает, как барыня!»

Не прошло и получаса, хлебовоз едет в обратную сторону, орет что есть мочи: «Невеста, невеста!»

Я хватаю большую сумку, бабка одергивает меня: «Я сама, сама...» Потом уж я вспомнил, как долго, оживленно и громко говорили они, когда бывали одни. Им уже по семьдесят пять лет, оба плохо слышат и видят и, как в стихотворении, «один к другому» льнут.

– Что-то он тебя невестой зовет? – спросил я бабку.

– Невестой-то? – с улыбкой, с какой-то трогательной готов-ностью говорила бабка, – да тада давно играли, на посиделках он за мной бегал...

Я с каким-то особым интересом стал смотреть на этого старика. К-то его почему-то по имени не звал, а говорили «хлебовоз». Дед Иван на удивление чисто одет, всегда курит махорку-самосад. Я как-то предложил ему «Яву». Он не докурил сигарету; сначала отломил фильтр, а потом и вовсе кинул. Бросил на траву и, вытягивая из кармана кисет, с отвращением сказал: «Вонючие, как пакля. Я их сроду не покупаю, не накури-ваюсь. Баловство одно. С мало-летства самосад курю. Тятка эх и драл меня за эту курятину. А я тайком курил».

– Сиделец, – отзывалась о нем бабушка ласково. – Еще при Сталине... Его и сына...

– А за что же он сидел? – приставал я.

– А Бог его знает... Сам не говорит, а народ вон всякое болтает... Кто бает – за рожь, кто – чевой-то сказал. Про Сталина ли, не знаю...

Слова эти запаали. Хотелось узнать: за что же сидели когда-то эти дремучие старики, по виду, повадкам – муху не обидят. Деньги, например, за хлеб ему кидали в картуз, а он царственно восседал на грядке телеги, выкинув ногу в стоптанном сапоге, и беспрестанно курил. Деньги не считал, верно знал, что не обманут – свои...

– Эй, невеста!

– Я схожу, – опередил я бабуку.

Бабка затеяла печь блинчики – тонкие блины из пшена. Затеяла она их вчера, а сегодня из-за незваных гостей уже не надеялась купить хлеб, принялась стряпать. Хотела накормить меня и идти обирать колорадских жуков.

– А где Пелагея-то? – удивился хлебовоз. – Ай ушла куда?

– Блины печет, – отвечал я.

– Когда приехал-то?

– Сегодня. Утром.

– У бабки-то, похощь, есть... Гости были? – подмигнув, спросил дед и посмотрел с тоской мимо меня на окна.

– У меня есть, – сказал я. – Пойдем... Старик тяжело спрыгнул с телеги, кинул еще зеленый свежий клевер лошади, развязал чресседельник, поправил косившую упряжь, долго раздумывал. И все же пошел за мной.

Печь уже жарко топилась, бабка покраснелась, с ухватом в руках с прищуром смотрела на гостя.

– Чево приперся-то? – неожиданно грубо спросила она хлебовоза. – Ай с похмела?

– Да я не к тебе, к внуку, больно малый хорош...

– Он-то малый, да ты больно старый. На стаканчике не остановишься.

Я решил действовать быстро и решительно: достал из рюкзака поллитровку, заготовленную еще в Москве, чуял – будут гости. Каждое лето были...

– Пашанишная? – удивился дед, все еще искоса бросая взгляды на бабуку и не решаясь подсесть к столу. – У нас такой нету. Очищенная.

– Из Москвы привез, – сказал я и раскапывал в рюкзаке завальши колбасы. – Знал, что тут не уку-пишь.

– У нас давно запретили, – понуро и решительно устроился на табуретке дед, – дескать, пить будут – работу позабросят... Тумаки...

Дед Иван тянул из стакана медленно, с удовольствием. А когда выпил, не стал закусывать сразу, а только понюхал хлеб. Бабка мазала блинчики гусиным перышком, масла не жалела. Искоса поглядывала на старика.

– Чево не закусываешь-то? – по-иному, уже добрее спросила бабка. – Вот сколько его знаю, как выпьет – не закусывает.

– Погоди, Поля, пусть по-жжет... Поспею, куда торопиться-то... Ну-ка, малый, глянь-ка, кобылка не ушла?

Я сунулся к окну. Кобыла карей масти как вкопанная стояла, понурившись, истово махая хвостом. Был третий час в начале, ее донимали оводы. Яркое августовское солнце заливало улицу, если можно назвать улицей два порядка сгнивших развалюх с продавленными крышами и пепелища, заросшие бурьяном. Домах в пяти жили приехавшие «на

лето» пенсионеры с внучками и внучатами. Эта молодежь плохо знала друг друга или не знала вовсе. Опоры с проводами покосились и грозили неприятностью. Улица по пояс заросла бурьяном и желтела рябинником. В заброшенных садах задичали яблони, стеной рос терновник.

Дед Иван пожевал сыр и тайком, сплюнув в ладошку, бросил под стол. Больше он закуски не касался, но повеселел, закурил и заговорил с бабкой про пенсию, потом о порядках в совхозе, о колорадских жуках, коих не берет отравы, распыляемая самолетами.

– Ты за что же сидел тогда? – неожиданно смело спросила бабка, закончив печь блины.

– А за дело, – ответил дед. – Теперь вот кого ни послушаешь – «ни за что гноили», «это Сталин сажкал»... А я так скажу, мало кто сидел ни за что. Не болтай, не во-руй, раз начальство не велит. Меня в сорок седьмом годе послали сеять рожь. Ну, думаю себе, ржицы хапну, хоть в карманах... Тада, малый, еще не мололи, а парили в чугунах и ели с молоком, – пояснил он мне.

– Голод был весной несказанный. У кого коровенки не было – пухли с голоду. В поле грязь стояла. Ре-шили не ждать, когда просохнет, послали сеять с лукошка, вручную. С повозки свалили нам мешков пять и уехали. Я сею, а Максимка мой подтаскивает, ест рожь горстями, а у меня слезы на глазах. «Эх, думаю, была не была...» Ну, отсе-ялись. Я с полмешка оставил себе, сыну с полпуда. Огородами при-несли, а сосед доказал. Мне семь, мальцу пять припаяли. Оба не досидели. Сталин умер, нас выпустили. Мог ли я говорить, что ни за что осудили? Нет, не могу. Тада время-то было какое: голод, надо сеять, а мы несем домой. Теперь вот гащат, попадутся – штраф. А сидели со мной самые что ни на есть душегубы. Ночью на моих глазах заруби-ли топором соседа на нарах...

– Ой, ой, – бабка перестала жевать блинцы. – Да правда, что ли?

– Ей-Богу, не брещу. Вот крест на пузе. Ой и шпаны-ы нагяделся. Там всякие. Законники, мокрушники, суки; меня к мужикам причислили сразу. Так и досиживал в мужиках.

– А Аксютин-то, Сергей-то Кривой?.. – спросила бабка. – Он правда ни за что?

– Не болтай, раз не велят, – оборвал бабку дед Иван. – Теперь вот все болтают, доболтаются, опять сажать будут. Отсидят, будут говорит «ни за что». А чево там! В Москве, слышь, малый, правда, что с пушек по людям палят? Во! С пулеметов в людей стреляют, это называется за народ стоят. Шпана, она шпана и есть. В голодовку человек человека убивал за буханку хлеба. Голодные были. А сейчас что? Ведь сы-ты-е...

– Ты бы не пил больше, а то не доедешь. Как в прошлом годе свалишь-ся с телеги... Эх ты, сиделец...

Дед Иван засмеялся, допил остатки. Что-то подумал, покачал головой. И осторожно наклонив-шись над стопкой блинчиков, же-вал нехотя. Поев, завернул самокрутку и так пыхнул, затянувшись, что бабка закашлялась.

– Ты бы не смолил туга, двигайся вон к печи да заслонку от-крой. Новые шторы повесила к приезду внука, теперь пропали, пожелтеют...

– Ничаво, – спокойно говорил дед Иван. – Ничаво, Поля. Дверь открой и окно.

– Мухи летят. Езжай-ка, езжай с Богом. Да гляди не засыпай. Когда хлеб-то привезешь?

– Хлеб-то? Да пойдем-ка, я ведь тебе оставил, а другой раз – дня через два, не раньше. Ну, прощайте, спасибо...

Дед Иван передал мне два увесистых хлеба, наладил упряжь, развернул кобыду, сел в телегу и поехал с песней:

*Не забыть нам годы боевые,
Не забыть нам тюрьмы-лагеря...*

Бабка глядела ему вслед из-под ладошки и говорила с тихой нежностью: «Эх, сиделец, сиделец...»